



Кран-Монтана

Моника
САБОЛО



“Этo наваждение появлялось то на Катке, то в булочной, то у Кабин фрункулера, у быдалось, такое далекое, в вязаном свитере или доброй шубке, и разбивало вам сердце.”

18+

Моника Саболо
Кран-Монтана
Серия «Коллекция Бегбедера»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64886336
Кран-Монтана: ИД «Городец»; М.; 2021
ISBN 978-5-907220-94-2

Аннотация

Кран-Монтана – горный курорт в Швейцарии. Середина 60-х, мальчишки-парижане, приезжающие на каникулы со своими состоятельными родителями, влюблены в трех первых красавиц курорта, трех К – Крис, Карли и Клаудию. Девушки не замечают мальчишеской влюбленности, у них своя бурная жизнь, первые переживания, первый опыт. Как сложится жизнь каждой из них? На совсем небольшом количестве страниц автор рисует панораму жизни популярного курорта с середины прошлого века до начала нынешнего, следя за причудливым переплетением судеб героев.

Содержание

Мальчики	5
1	5
2	10
3	17
4	23
5	32
6	37
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Моника Саболо

Кран-Монтана

© Editions Jean-Claude Lattès, 2015

© A book selected by Frédéric Beigbeder, 2020

© Н. Хотинская, перевод на русский язык, 2021

© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление,
2021

Мальчики

1

В то время в Кран-Монтане мы все были в них влюблены. Во всех трех сразу, или в каждую по отдельности, или только в одну, это наваждение появлялось то на катке, то в булочной, то у кабин фуникулера, улыбалось, такое далекое, в вязаном свитере или бобровой шубке, и разбивало вам сердце.

Мы знали наизусть их гардеробы, их духи. Их улыбки, их ямочки, их родинки – на плече, пониже локтя, – округлые контуры их ягодиц, обтянутых «Левайсами», принадлежавшими старшим братьям. Мы знали их шале, их родителей, все их аксессуары, заколки, бирюзовые сережки, коралловый браслет, полосатые носки, длинные, до самых ляжек. Мы знали дни их рождения, их адреса в Париже или Милане, коллеж в XVI округе, пансион в Лозанне.

Мы знали их, как знают сыщики подозреваемых, за которыми следят, затаившись в серых машинах, с ключом зажигания в замке. Мы собирали улики – это были доказательства их существования: ментоловые сигареты, жевательная резинка «Голливуд» со вкусом лимона, фиалковые конфеты и перстень из оникса с черепом, забытый на краю раковины и лихорадочно сунутый кем-то из нас в карман. В тот же ве-

чер в «Спортинге» он будет переходить из рук в руки, в молчании, внимательно изученный каждым, отшлифованное вещественное доказательство женской тайны.

Они были видениями, о которых мы мечтали, вернувшись в наши буржуазные квартиры и перебирая воспоминания о каникулах, как диапозитивы, где только они да они, в брызгах света, шепчущие нежные слова на тайном языке. Они были нашей первой любовью, и всех других женщин в нашей жизни потом мы сравнивали с ними, и ни одна никогда не смогла стереть их тени. Они возвращались, реальнее, чем наши жены, наши любовницы, матери наших детей.

Компашка трех К. Крис, Карли и Клаудия. Две парижанки и итальянка. Они ходили всегда вместе, под ручку, или сидели в небрежных позах на банкетке, поджав под себя одну ногу, они были такие разные, однако составляли идеальное целое, вроде созвездия. Клаудия – белокурые волосы, бледное личико, узкие бедра, зазывная улыбка. Крис – темные кудри, матовая кожа, вызывающие губки, длинные хищные ногти. Карли – черные волосы ниже талии, маленькие груди, длинные ноги, совершенная фигурка. Они как будто всегда забавлялись и потешались над окружающим миром. Пили кока-колу через соломинку или держались за руки на катке с рассыпанными по плечам волосами, и каждый раз у нас зашкаливало сердце, вспыхивали щеки, и кто-то один непременно изображал агонию: рука на груди или воображаемый

пистолет у виска.

Было ли это зимой 1965-го? Летом 66-го? По словам Роберто Алацраки, итальянца из Триполи, сделавшего пластику носа в год своего восемнадцатилетия, они впервые появились, закутанные в парео, на праздновании Нового года по-полинезийски, в «Четырехстах ударах» на берегу озера в Вермале. Серж Шубовска, парижанин, который носил галстуки, даже когда играл в боулинг, утверждал, что это было в пасхальные каникулы 1966-го в Клубе под «Харчевней Королевы», где они «танцевали так, будто им подожгли задницы», но никто ему не верил.

Все наши каникулы или почти все, и зимой, и летом, мы проводили в Кран-Монтане, в Швейцарии, вернее, в Монтане-Кран, как говорили тогда. Своим подругам наши матери расхваливали красоту гор, чистый воздух, покой, что твои турагентства, всю эту шнягу, на которую мы плевать хотели, это только напоминало нам, что родители нас никогда не поймут. Даже до появления трех девушек никогда Кран-Монтана не была для нас убежищем. Свет там был злой, небо острое, леса темные, тревожные. На лыжных трассах и под пуховыми одеялами мы чувствовали себя мучительно живыми, слишком сильно бились наши сердца. В Париже мы жили обычной жизнью, но там все было дико, и свобода страшила. Мы встречались, мальчики из хороших семей, по большей части евреи – хотя это не имело никакого значения, мы были

кликой — в лыжной школе или в блинной, — а позже в ночных клубах курорта и каждый раз дышали чаще, с теснением в груди от восторга и угрозы.

На самом деле три К были всегда. Они были девчонками, бегавшими по «Гран-Плас», современному супермаркету в центре курорта, где наши родители покупали в абсурдных количествах сыр и шоколад. Они сосали «Сюгюс», швейцарские конфеты с сахарным сиропом, прячась за внушительными фигурами старших братьев. Потом они стали барышнями, скромными, вежливыми, одетыми в темные пальтишки из шерсти, похожей на картон. Как и мы, они брали уроки гольфа, лыж, плавали в бассейне, бегали по террасе «Спортинга» и, тоже как мы, таскали там оранжевые пластмассовые палочки, которыми мешают коктейли. Но мы их не видели. Мы жили в параллельном мире, уютном и мягком, как весенний снег. Это было время без памяти, время, от которого нам остались только запахи наших матерей, целующих нас на ночь, при параде, при макияже, и оставляющих смутно тревожными, сознающими свою полную бесполезность.

А потом вдруг, однажды летом — или это было зимой? — с тремя К произошла невероятная биологическая метаморфоза: у всех трех неожиданно оказались груди, разом отросли волосы, округлились ляжки под килтами, появились брелки на шее и на запястьях.

Как они встретились? Этого никто никогда не узнает.

Любовь, которой мы к ним воспылали, была, вероятно, соразмерна нашему ошеломлению, когда они предстали перед нами, преображенные. Мир менялся, их уверенные улыбки предвещали революцию. Жизнь стала отныне страшной, сказочной, состоящей из одиночества и бессонниц, что изливались в нас, как воды подземного озера.

Мы не видели их, однако же они были. Это Франко Росетти, чьи родители держали бакалейную лавку в Монтане, рассказал нам об истоках, о том смутном времени, когда мы были слепы.

Едва ли на два года старше нас, но Франко Росетти уже был мужчиной. Мы выглядели мелкими, хлипкими, а он играл мускулами – они казались живыми – под линялой футболкой и носил джинсы, под которыми угадывалась завораживающая анатомия. Мы хихикали, упоминая «штучку Франко». Сами-то ходили в бархатных штанишках зимой, в бермудах летом. Мы трепетали перед ним.

Наши родители обращались к Франко как к равному себе. Они выказывали ему уважение. Наши отцы любили поболтать с Франко, тогда как нам они запрещали разговаривать за столом и закрывались в своих кабинетах, будто бы наше присутствие напоминало им о неудобной действительности. С ним они переходили на заговорщический тон, который нам был не знаком. Они заказывали вяленое мясо, шампанское, жирный сыр, и Франко выставлял все на прилавок в коробках особенно бережно.

Даниэль Видаль, чей отец любил стучать по столу молотком с надписью *Il capo sono io*¹, запомнил одну сцену, кото-

¹ Я – начальник (*ит.*). (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим.

рую часто пересказывал нам, гневно блестя глазами. «Там была фотка Мэрилин Монро, в журнале на прилавке в магазине, и вдруг мой старик говорит Франко: “Они были ей велики, правда?” Знаете, что он имел в виду? Ее груди! Он говорил о ее сиськах!» Каждый раз, вспоминая эту сцену, Даниэль Видаль устремлял взгляд в пустоту и как-то болезненно хихикал.

И наши матери в его присутствии становились не совсем собой. Они подкрашивали губы на главной улице, ведущей к лавке, приглаживали руками волосы, говорили сладкими голосами с отцом Франко, коренастым коротышкой, чьи дряблые щеки и тусклый облик буквально завораживали нас – как такой тип ухитрился произвести на свет столь великолепное потомство? Чувствовалось, что они обращаются не к шибздику, энергично стучавшему по кнопкам кассового аппарата, нет, из-под своих напудренных век они украдкой косились в сторону. Их щебет изящных птичек был пением для этого мальчишки, немногим старше сыновей, складывавшего их покупки в бумажные пакеты. Эдуард де Монтень, за чьи шоколадки нам всегда приходилось платить, потому что никаких карманных денег ему не давали, рассказывал, что видел однажды, как его мать с бесстыдным смешком сунула двадцатифранковую банкноту в задний карман джинсов Франко. «Двадцать франков, черт бы его побрал!» – ворчал он, качая головой.

Франко Росетти, казалось, не сознавал, что он другой, что, когда мы спали, как девчонки, уютно свернувшись под пуховыми одеялами, он вставал в пять часов утра и ехал за товаром. Он водил отцовский грузовичок с тринадцати лет, и никого это не трогало, как будто он был сам по себе, и человеческие законы его не касались. В нем была какая-то непринужденная грация, изящество хищника, и мы все его любили. На самом деле нам хотелось быть Франко Росетти. Когда мы заворуженно и встревоженно смотрели на круги пота на его торсе, он улыбался нам или подмигивал. Мы были ему благодарны, ведь он давал понять, что мы одной крови.

Спустя годы, когда галлюциногенные грибы частично съели его мозг, когда он носил бирюзовые браслеты и куртки с бахромой, мы продолжали смотреть на него со смесью восхищения и зависти. Он источал звериный дух и говорил с валезанским акцентом, который странным образом не портил его очарования. Несмотря на наши сшитые на заказ костюмы, наши сигареты без фильтра и пачки банкнот, что раздували карманы наших пальто, его присутствие возвращало нас к жестокой действительности: мы навсегда остались маленькими мальчиками.

Франко Росетти помнил трех К в ту пору, когда они еще не были компашкой. В сарае, где мы навещали его после уроков лыж, он делился с нами воспоминаниями об их прошлых

жизнях.

Он знал Карли (которую вообще-то звали Карлоттой) и Крис (которую только ее мать звала Кристиной) всю жизнь. Он с трудом припоминал детали и даты, что раздражало нас, особенно Сержа Шубовска, ставшего в дальнейшем инженером, выпускником Национальной школы мостов и дорог, и с маниакальной тщательностью записывавшего каждое появление Крис в толстую черную тетрадь. Франко снабжал продуктами семью Крис Брейтман в «Пальме», роскошной резиденции в горах Кран-Монтаны, находящейся вплотную к лесу, апартаменты в которой, современные и идентичные, принадлежали по большей части парижанам, богатым, шикарным и еврейского происхождения. Боря Тбилиси, отец Карли, еврей из Владивостока, построил шале в Блюше, деревне подешевле, на склоне, в нескольких километрах от медицинского центра, где он лежал в 1942 году, после того как пересек границу, с обмороженными руками и ушами.

Франко перечислял заказы с научной точностью: водка, хумус и бульонные кубики «Магги» для Тбилиси, шампанское «Боллинджер» (как минимум десять бутылок в неделю!) для Брейтманов, сыр на фондю, булочки, молочный коктейль *Cacolas* (он говорил, что Жиль, брат Карли, пьет его в немыслимых количествах в любое время дня). Когда речь не шла о съестном, его память, казалось, слабела, как будто мозговая активность Франко ограничивалась функциями кассового аппарата. Карли и Крис были для него всего

лишь девчонками, черненькими тихонями, размытыми силуэтами, не в пример их братьям, которые носили экзотические твидовые костюмы и, здороваясь, хлопали его по плечу или пожимали руку. Но чувствовалось, что настоящими его собеседниками, теми, к кому он обращался с уверенностью и непринужденностью, свойственными ему, с тех пор как он открыл для себя мир торговли, то есть еще до того, как выучился писать, были их родители. Боря и Саломея Тбилиси, Морис и Мара Брейтманы, которые целовали его при встрече, совали монетки в пять швейцарских франков в карман его анорака и смотрели на него уважительно, как смотрят обычно на свободных людей.

Он упомянул – что вызвало в нашей компании некоторое смятение – гигиенические прокладки *Vania*, количество которых значительно возросло в семье Тбилиси где-то в 1962-м (или в 63-м? или в 65-м?), хотя этот товар никогда не вносился Брейтманами ни в один список – но, возможно, Морис Брейтман исключительным образом делал заказы по телефону, что могло объяснить эту аномалию. Был еще горький лак, предназначенный для Карли, который приходилось выписывать из Женевы. Та грызла ногти, чего не выносила Саломея Тбилиси, египтянка с блестящей шевелюрой. «Как мех выдры», – говорил Франко хриплым голосом, словно речь шла о специфической особенности эротического плана, что вызывало болезненные разряды в наших бермудах.

«Можно подумать, что ребенка не кормят, надо ей есть

свои пальцы», – раздраженно повторяла Саломея Тбилиси. Поразительно было представлять, что у Карли может быть вредная привычка. Перед глазами стояли ее наманикюренные ноготки изысканно розового цвета, непроницаемая улыбка и глаза, никогда не моргавшие, как будто сердце ее делало всего один удар за геологическую эпоху.

Возможно ли, чтобы у нее была нервная система? Внутренние терзания?

Патрик Сенсер, самый крепкий и полнокровный из нас, который регулярно дрался в Клубе с итальянцами, параллельно улыбаясь или предлагая выпить своей подружке, признался нам много лет спустя, в тот вечер, когда был оформлен его развод, что он тайком выписал из Женевы, помимо эротических журналов, на что уходили все его сбережения, тот самый горький лак. Франко вручил его Патрику в пакетике из крафтовой бумаги – скрытность была его кодексом чести, – добавив коробочку конфет. Вернувшись домой, Патрик Сенсер, который в одиннадцать лет весил шестьдесят кило и играл на второй линии центровым в регби-клубе в Нейи, ласкал этот крошечный флакончик своими ручищами. Он осторожно отвинтил крышечку и, вдыхая запахи аптеки – или морга, – ощутил головокружение от проникновения в тайный мир.

В тот вечер в Париже, заказав двухлитровые бутылки шампанского и неуклюже сунув пятисотфранковые банкно-

ты официанткам с пустыми глазами, он поведал нам – и его сшитая на заказ рубашка взмокла от пота, – что все эти годы не мог прогнать те воспоминания. «Этот привкус металла или болезни – от него не избавиться. Это здесь! Это здесь! – повторял он, стуча ладонью по лбу. – Я ничего не помню: ни встречу с женой, ни нашу свадьбу, каникулы, уикэнды, ничего не осталось. Но этот запах! Это как чертов призрак».

Франко Росетти не было дела до Крис и Карли. Если точнее, они внушали ему ту нежность с примесью равнодушия, какую испытывают к младшим сестренкам, они ведь так привычны, что становятся ничего не значащими, по крайней мере, лишенными тайны. Позже, когда они стали ослепительными красавицами и вешались ему на шею, невинно прижимаясь кончиками грудей к его торсу, он улыбался им великодушно, но это мы, оцепеневшие наблюдатели происходящего, ощущали мягкость тонкой шерсти на своей коже – и приходилось закрывать глаза, когда огненный океан изливался в наши легкие.

Но была еще Клаудия. Да, Франко взирал на жизнь с безмятежным прагматизмом, пребывал всегда в хорошем настроении и смотрел на нас непонимающе, когда мы пытали его, как шальные полицейские, о Крис и Карли, но и у него была тайная слабость, холодный шип в сердце: Клаудия. Вероятно, он сам этого не понимал, но его тело посылало сигналы бедствия в ее присутствии, он весь дрожал или съеживался, как будто в него попали снежком.

Франко помнил темно-зеленый «мазерати», припарковавшийся с осторожным урчанием в декабре 62-го прямо напротив лавки. День был серенький, и на грязном снегу авто-

мобиль выглядел неуместно, как павлин в болоте. Альберта и Паоло Маджоре изящно выбрались из салона. На мужчине был светлый костюм, на женщине – туфли на каблуках и изумруды, плохо подходившие к высоте. За ними вышел подросток, красавец, высокого роста, с темными блестящими волосами, зачесанными набок. Его сестра, помладше, оказалась неожиданно тусклой, как тень на фотографии. Она была подстрижена «под горшок», одета в пальто с воротничком «Клодин» и кривила рот – то ли живот у нее болел, то ли собиралась заплакать. Это была Клаудия. Он помнил, как на него вдруг словно накатило горе, когда он заметил темные круги, залегшие на бледной коже, и ее погасшие глаза под светлой, почти белой челкой. Альберта Маджоре тоже была блондинкой, но с волосами цвета меда, причесанными как у кинозвезды: идеальные локоны, аккуратная линия, работа профессионала. Ее чувственный рот – такой же, как у сына, – выкрашенный хищно-красной помадой, создавал впечатление, что жизнь она ведет не самую пристойную, к примеру, позирует для сексуальных фотографий или работает в казино.

Наши матери испытывали двойственные чувства к Альберте Маджоре. Встречая ее в центре или на торговой улице Монтаны, всю из себя скульптурную в своих альпаковых пальто, пошитых в Милане, они здоровались с ней приторно-любезно. Останавливались поговорить с ней – чего никогда не делали ни для одной женщины, если она не была из

их парижских подруг, этих женщин, казавшихся их смутным отражением – шиньон, средний каблук, напудренная бледность. Они делали ей комплименты – чудесно выглядите, прекрасная прическа, – а их глаза запечатлевали малейшие детали, как чувствительная фотопленка, которая фиксировала действительность, сохраняя ее в альбом, находящийся в их мозгу. Ее загар, ее сверкающие изумруды под цвет глаз – «змеиная зелень», сказала мать Эдуарда де Монтеня, – шляпки, кожаные перчатки, пухлые губы, разительный контраст между строгой элегантностью ее одежды и откровенной чувственностью анатомии.

Об Альберте Маджоре ходила информация поразительная и противоречивая. Мы слышали, как наши матери – отцы никогда – говорили о ней по телефону или за чашкой шоколада в гостиной, изящно закинув ногу на ногу под головами серн на стенах, выглядевших живыми окаменелостями. Женщины курили и шептались, вытягивая шеи.

Она работала во время войны переводчицей у немцев в Колорно на севере Италии, в замке, реквизированном вермахтом. Она входила в антифашистскую патриотическую группировку и участвовала в Милане в партизанских операциях с карабином в руках. Кто-то слышал, как она говорила по-немецки с господином Баумгартнером в Сьерре. Она была танцовщицей в кабаре в Мар-дель-Плата, когда эмигрировала в 1945 году в Буэнос-Айрес. Она продавала бриллианты, которые гранил ее муж, – их происхождения никто не

знал. Ферму ее родителей сожгли партизаны после войны. Она была любовницей Муссолини. Снималась в кино в Голливуде. Работала на американские спецслужбы.

Было ошеломительно подслушать невзначай эти разговоры, звенящие от возбуждения голоса наших матерей, этих утонченных дам, обычно совершенно безэмоциональных. Но главное – речь шла об эпохе, о которой никто никогда не вспоминал, как будто она была покрыта толстым слоем снега.

Мы знали, что Домино Зонтаг, белокурая красавица с тонкими, как у птицы, ногами, которая ошивалась в Клубе, была удочерена, потому что ее родители погибли в лагере. Знали, что Соломон Вебер носил на груди у сердца револьвер днем и ночью. Мы знали, что наши родители пережили многое. Были дяди, тети, бабушки и дедушки, друзья семьи, о которых нам ничего не было известно. О них никто никогда не говорил. Были фотографии в наших книжных шкафах или в родительских бумажниках: улыбающиеся молодые люди, женщины с завитыми волосами, новобрачные, мы ничего о них не знали, сами того не замечая, – они просто были – в красивых рамочках, привычные, декоративные, как фарфоровый сервиз или коллекция резных деревянных уток. Иногда мы чувствовали в глазах наших родителей поволоку, будто скрытую картинку сквозь фильтр экрана грезы. Но ни один из нас никогда не смел об этом заговорить. Впрочем,

мы и думать об этом не думали. Мы знали, что большинство из нас евреи, но это ничего не значило, так, смутная фольклорная реальность. Мы не ели кошерного, не ходили в синагогу и смотрели на участь Ариэля Каттана, который соблюдал шаббат и не имел права кататься на лыжах в субботу, скорбно, как будто речь шла о незаслуженном наказании.

Франко не любил Альберту, ее груди, похожие на резиновые мячи, ее снобские замашки и «жестokie» глаза – никто из нас никогда не видел в ее глазах ни малейшей жестокости, но, сказать по правде, ей в глаза мы смотрели редко. Он, такой добрый, такой отзывчивый, знавший слабости женщин: мадам Ламбер, к примеру, принимала его в рубашке, расстегнутой до пупа; от Джеки Баррас разило джином до полудня; мадемуазель Хаас, восьмидесятилетнюю старушку с длинной шеей, он застукал с рукой в штанах ее помощника по хозяйству. Всеми этими воспоминаниями он делился с нами много лет спустя с печальной нежностью в голосе, но, может быть, был просто пьян, каким бывал почти постоянно, что странным образом придавало ему какую-то меланхолическую мудрость.

Франко смотрел на Клаудию, и сердце его билось, как птичка в кулаке. Что это было – ее неровно подстриженные волосы, лицо, усыпанное бледными, почти серыми веснушками, шерстяные перчатки, которые она нервно теребила? Она была тогда, говорят, крайне робкой, что нам казалось

почти невозможным: мы знали ее итальянкой, носившей самые коротенькие шорты, какие мы когда-либо видели (Анна Сенсер утверждала, что та сама укоротила их маникюрными ножницами).

В то время они оба были как бы аномалией каждый в своей семье. Франко с его каштановыми кудрями, состоящим из одних изгибов телом и природной непринужденностью, казалось, был создан, чтобы вести праздную жизнь где-нибудь в Бразилии или в Калифорнии, с блестящей от крема для загара кожей у фигурного бассейна. Клаудия же походила на привидение со своей прозрачной кожей, под которой было видно, как бьется ее сердце; в девственно белых платьях и пальто, словно она постоянно готовилась к первому причастию. Она словно была физическим воплощением грехов семьи, слишком сверкающей мишурой, чтобы быть честной. «Она страдала, *это было видно*, – объяснял нам Франко с блестящими от волнения – или от ярости – глазами, – а они-то, они не делали *ничего*. *Совсем ничего*. Мне хотелось их убить. *Я мог бы их убить*».

Когда мы возвращались в тот вечер домой, скрип наших упругих шагов по снегу, покрытые инеем ели и холод, от которого цепенели пальцы, вдруг показались угрожающими, как будто мы ступили на ласковую, предательскую территорию, где зима окутывает вас и леденит сердце.

Мы не любили итальянцев. Они были заносчивы, носили рубашки из египетского хлопка и всюду ходили толпой. Они были невыносимо элегантные, утонченные, как будто случайно. Казалось, они плюют на все – всклокоченные волосы, измятые брюки, – но ничто не могло поколебать их облика. Они носили плетеные браслеты из слоновой кожи, что казалось нам смешным, и тратились, не считая, как будто деньги не имели значения. «Они так вульгарны», – повторял Макс Молланже, презрительно шмыгая носом, но было очевидно, что Макс Молланже, похожий на состарившегося мальчика в своих жаккардовых свитерах и роговых очках, только и мечтает носить кожаный браслет и мятую рубашку. В «Четырехстах ударах», где миланцы были завсегдатаями, он постоянно вертел головой, следя за каждым их движением, наблюдал, как они танцуют, небрежно, нелепо, как курят без меры – они держали свои сигареты в плоских портсигарах, точно девушки, – и выглядел таким растерянным, таким возмущенным, что нам было больно на него смотреть. Мы его никогда особо не жаловали. Но нездоровая тяга этого человека к итальянцам окончательно убедила нас, что он ничтожество.

На самом деле Макс Молланже выражал, только раскованно – непристойно, невыносимо, – то, что чувствовали мы

все в глубине души: жестокую зависть, накладывающуюся на дурноту от нашей слабости. В Париже, на вечеринках, в спортивных клубах, в кафе это нам завидовали, на нас смотрели, нас даже порой боялись. Мы ходили по коридорам наших дорогих школ, посмеиваясь, и выбирали себе собеседников, давно пресытившись любым выбором. Учителя, обращаясь к нам, не злоупотребляли своим положением. Прислуга, которая жила в комнатухах над нашими квартирами в триста квадратных метров, называла нас «месье». Нам прислуживали за столом. Мы знали, что обладаем определенной властью, и, даже если ночью, в постели, нам хотелось плакать – мы сами не понимали почему – или бить кулаком в стены, а ярость, смешанная с ощущением падения, жгла желудок, мы все равно были в безопасности. Но с итальянцами мы ступали на зыбкую почву. В их мире нас не существовало. Они даже не делали усилий, чтобы говорить по-французски. Они вообще не делали усилий. Жизнь скользила по их коже, как прохладная вода ручья. Когда мы узнали, что Луиджи Лоренци, высокий блондин, которого часто видели в Клубе, в дымчатых очках и с дерзкой улыбкой, как магнит притягивавшей наших сестер, выбросился из окна ноябрьским вечером, с восьмого этажа их семейного миланского дома, мы были ошеломлены. Говорили, что он принял столько наркотиков, что просто нырнул, опьяненный осенним теплом, сказав что-то о том, как прекрасна ночь. В это трудно было поверить: на Рождество итальянцы были тут как тут, такие же яр-

кие и беззаботные, как всегда, и, если не считать отсутствия Луиджи Лоренци, не было никакого отличия от предыдущих лет. Девушки пытались что-то выведать, робко приближаясь к столику, за которым обычно сидели миланцы, но даже не могли закончить фраз, цепenea от наглых взглядов, вдруг обращенных к ним, от небрежных «*Ciao ragazze*»², тотчас превращавших их в зардевшихся статисток. Виктория Абар де Мужен, знаменитая тем, что переспала с Эдди Константином, попыталась заговорить у мужского туалета с сумрачным брюнетом из Бергамо, но тот сделал знак, что не слышит, похлопав себя по уху, и скрылся в дымной ночи. Позже она утверждала, что он поцеловал ее однажды вечером на улице у кинотеатра и потом преследовал, названивая каждый день, но в ее присутствии он казался равнодушным: не встречался с ней взглядом или же рассеянно, будто бы рефлекторно, поглядывал на ее попку.

Франко Росетти итальянцы считали своим. Они были явно рады его видеть, когда он входил в Клуб в своей старой футболке и джинсах в обтяжку, с запавшими от усталости глазами. Заметив их, он здоровался типичным своим подмигиванием – в точности как с нами, – а они вставали при его появлении, как перед гостем, требующим особого уважения. Они хлопали его по спине, шутили по-итальянски, а Франко смеялся от души, не выказывая ни малейшей нервозности

² Привет, девочки (*ит.*).

или гордыни. Однажды мы растерялись, поняв, что Франко говорит по-итальянски, не раскатывая «р», как самые большие снобы из миланцев. Даже Роберто Алацраки, единственный итальяшка, которого мы допустили в свою компанию, наверно, потому что он жил в Триполи и страдал лишним весом, этого не умел. Но Франко никогда не садился за их столик. Он садился с нами, и мы испытывали облегчение и ярость одновременно.

Франко поддерживал что-то вроде тайной дружбы с Джованни Маджоре, братом Клаудии. Он об этом не говорил, но и не скрывал намеренно, просто это не казалось ему важнее всего остального. Нам сообщил об этой таинственной связи Даниэль Видаль, он обнаружил ее, читая дневник своей сестры Анук, спрятанный в ящике с колготками. Он тогда объяснил нам, что завел привычку его читать, чтобы попытаться «понять, что у девочек в голове». «Я не знаю, это моя сестрица двинутая или с приветом, или, может, они все такие, честно, жуть берет». Анук, по его словам, писала стихи, в которых шла речь как о китах и белочках, так и об «асфиксии души» и «любви, высасывающей кровь». Еще она практиковала автоинтервью («Какой твой любимый цвет, Анук? Как ты определила бы свой стиль? По-твоему, мальчики находят тебя красивой?» – на последний вопрос она ответила красной ручкой и большими буквами: «Мой нос – мой крест»). Но больше всего поразили Даниэля целые страни-

цы, посвященные Джованни (иногда даже просто его имя, написанное бесконечное число раз, как заклинание вуду), и подробное описание всех их встреч (как правило, мимолетних: «Он улыбнулся мне у фуникулера, даже Анна это заметила»).

Между страницами была заложена профессиональная фотография («Фотограф Баррас» – напечатано вдоль белой рамки), черно-белый снимок, сделанный на вершине горы, Джованни и Франко (*Франко катался на лыжах? Но как? Когда?*) обнимают друг друга за плечи, Джованни победоносно поднял вверх лыжную палку, у Франко свитер завязан на талии. Они улыбались, и их темные силуэты, невероятно сексуальные, четко вырисовывались на фоне Маттерхорна, а снег, отражавший свет и залепивший их лыжные ботинки и штанины, почти флуоресцировал. Казалось, им принадлежит весь мир. Даниэль Видаль ощутил боль в груди, как будто его ударили. Он тогда, сказал он нам, швырнул свои часы о стену, а это кое-что значило, его «Ролекс» был в ту пору самой большой его любовью, он, кстати, носил его всю жизнь, как печальную реликвию того времени, когда ему еще хотелось верить в притягательную силу аксессуаров.

Франко рассмеялся, когда Даниэль потребовал у него отчета однажды вечером в Клубе, нейтральным, как ему самому казалось, голосом, но нам стало не по себе. Даниэля Видаля иной раз заносило. Он любил бросать петарды под ноги

парочкам, танцевавшим медляк в «Спортинге» в 5 часов, что выводило нас из себя. Мы прощали Даниэлю эти заносы, они позволяли нам разбить что-то в себе – нашу стыдливость, послушание, трусость? Пьяный, с побагровевшей шеей и блестящими от пота волосами, Даниэль нагнулся к Франко и выпалил с какой-то горечью: «Ты теперь катаешься на лыжах?»

Ни один из нас в тот вечер, а было нас как минимум шестеро или даже семеро за этим столом, прислушивающихся к разговору, который норовил выйти из колеи, не произнес ни словечка. Даниэль Видаль держался очень прямо, глаза блестели, и внезапно он стал похож на наших отцов. Патрик Сенсер осушил стакан виски, а Серж Шубовска встал из-за стола, поправляя галстук-бабочку, и ушел, забыв в гардеробе свой дафлкот.

Франко улыбался деликатно, даже не насмешливо, как будто не понимал. Много лет спустя Даниэль Видаль пересказал нам эту сцену не один раз – он забыл, что мы были там. Он рассказывал, что Франко встал, обнял его одной рукой за талию и прошептал в самое ухо: *«Я тебя люблю, Даниэль»*.

Вот так Джованни Маджоре вошел в нашу жизнь до своей сестры Клаудии, о существовании которой мы тогда не знали, – как можно представить сегодня такой изврат? Кем мы были тогда, если не жалкими слепыми животными?

Франко заявил, что видится с Джованни Маджоре вре-

мя от времени, мол, «за ним надо присматривать», и это было все, и никто не задавал вопросов, даже Серж Шубовска. Франко закурил сигарету, и мы устыдились, проникшись элегантностью человека, который имеет секреты и умеет их хранить. Так было и с девочками, которые за ним бежали (а их было много, они совали смятые записки в карман его анорака, приходили в лавку, выкладывали на прилавок свои груди, наклонившись вперед и накручивая на пальцы волосы). Но он никогда не хвастался. Зимой 67-го Надин Шомьен, самая шикарная и классная девочка в лицее Жансон-де-Сайи, приехала на каникулы в Кран-Монтану, вызвав осязаемое смятение в рядах парижан, настоящий ажиотаж. Она клеилась к Франко, он рассказал нам об этом много лет спустя, да и то просто обмолвился в разговоре, как будто это не имело никакого значения. Она сделала нечто безумное, дерзкое, невероятное – пригласила его пойти с ней в кино на «Ночь игуаны» (или «Мою прекрасную леди», говорил кто-то из наших сестер, но как бы то ни было, он отказался – тут все свидетели сходились, – извинившись, слишком много работы, *высокий сезон*).

В ту зиму мы стали наблюдать за Джованни Маджоре (*за ним надо присматривать*, эта загадочная фраза продолжала звучать, мы не могли от нее отделаться). Пусть даже никто из нас никогда не заговаривал с ним, он стал отныне частью нашей жизни, по крайней мере, воображаемой. Когда он вхо-

дил в «Спортинг» или в блинную, нас пробирал озноб, и мы понимающе переглядывались, подобравшись, словно хотели скрыть наше присутствие, но Джованни Маджоре не обращал на нас никакого внимания. Такова была жестокая реальность: он даже не то чтобы игнорировал нас или презирал. Он попросту нас не видел.

Он был невероятно красив с его зачесанными набок волосами, миндалевидными глазами, зелеными, как у матери, и пухлым ртом. От него шибало смесью хорошего воспитания и сексуальной развязности. Он часто был окружен девушками, хорошо одетыми миланками, такими пайнками в кроличьих курточках, они, как поклонницы за звездой, семенили за ним, стараясь попадать в ритм его широких свободных шагов, и смеялись его шуткам, блестя глазами от удовольствия. С виду он радовался жизни почти по-ребячески и, даже когда бывал один в баре «Спортинг», где заказывал мартини с водкой («Как Джеймс Бонд», – заметил Серж Шубовска с долей уважения), казалось, веселился. Даже Андреас, бармен из Цюриха, который никогда ни с кем не разговаривал, жонглируя с сосредоточенным лицом своими шейкерами – «мрак», говорил Роберто Алацраки, – не мог удержаться от улыбки и приостанавливался, когда Джованни подбрасывал вверх оливки изящным, точным движением, чтобы поймать их ртом.

Но мы очень скоро забыли фразу Франко. Да и произносил ли он ее? Нас тоже иной раз заносило не туда, голо-

вы были так забиты. Уроки лыж, партии в боулинг, наши матери принимали родню, наши отцы участвовали в турнирах по керлингу (некоторые носили вязанные береты, что поражало нас до глубины души), а эта теплая зима, ослепительное солнце над Альпами, прозрачное озеро, отражавшее свет, как на романтической открытке, окончательно погружали нас в обманчивый зыбкий туман, будто чистота неба отражала покой нашей жизни.

В год, когда Маджоре не приехали в Кран (ни на Рождество, ни на Пасху, ни следующим летом), по курорту пошли сплетни, передаваемые в основном нашими матерями. Голубые ставни их маленького шале в Монтане, на поляне, усеянной маргаритками, оставались закрытыми. За лето кусты обрели угрожающий вид, цепляясь когтями за фасад, там и сям взъерошенными гейзерами пробивались сорняки. Кристиан Гранж, чья семья снимала трехкомнатную квартиру в доме прямо над шале, утверждал, что слышал подозрительный шум несколько ночей подряд, как будто «кто-то заперт внутри и скребет дверь ногтями». Но Кристиан Гранж был ненадежным собеседником, лицо его дергалось от тика, а руки были покрыты пятнами экземы, с трещинами между пальцами. Мы подозревали, что он принимает тайком таблетки своей матери, скромной женщины, чей муж умер от разрыва аневризмы. Иногда его мать принималась тараторить без умолку, внезапно обращаясь к нашим отцам, тонким голосом, близко, слишком близко к их губам, — наши матери уже не утруждали себя ответами на ее приглашения.

Говорили, что Альберта Маджоре больна, что у нее туберкулез или даже стыдная болезнь, и наши матери качали головами, поджав губы и нехорошо поблескивая глазами, но иногда оказывалось, что это сын Альберты болен гепатитом, и

они печалились («Такой красивый мальчик, такой живой!»). Было странно слышать такие разговоры о здоровье и о телесных недугах, которым наши матери уж точно были не подвержены, красивые цветы в фарфоровых вазах, они никогда не простужались, не потели и были сделаны, казалось, из совершенно гигиенического мрамора. Им случалось иной раз прилечь после обеда, согнув ноги под юбкой, аккуратно поставив лодочки на ковер в изножье кровати, идеально симметрично. Они часто уставали, какая-то нервозность исходила от их силуэтов статуй. И хотя у нас почти у всех были домработницы, гувернантки, кухарки (*живые* существа, и мы любили их за это, хоть никому и в голову не приходило им это сказать), наши матери ходили за ними по пятам, проверяя отмытость стекол, перекладывая диванную подушку, осматривая свой интерьер так, будто он отражал чистоту их душ.

Мы же, со своей стороны, чувствовали себя одетыми животными под нашими высокими воротниками из полиэстера, особенно когда поднималась эта боль внизу живота, кипела кровь во вздувшихся лыжных штанах, и надо было облегчаться, морщась, в ваннных комнатах, где красовались вышитые полотенца. Нам приходилось жить с этой дикостью, с этим стыдом, о котором мы никогда не говорили, даже между собой. Странное дело, именно в Кран-Монтане боль была особенно острой, как будто ветер и снег, наэлектризованный, искрящийся, зимой, трава, насколько хватает глаз, за-

пах мокрой природы, ледяные ручьи летом будили спящего в нас зверя, который рос, рос, топорщил густую шерсть, ласковый, опасный.

Мы так и не узнали, был ли Франко Росетти огорчен отсутствием Маджоре и даже заметил ли он его вообще. Но он рассказал нам, как они вернулись в следующем году – в 1967-м или, может быть, в 1968-м, – в подсобке, голосом, показавшимся нам более хриплым, чем обычно (Патрик Сенсер говорил, что и руки у него дрожали, «как будто он замерз»).

В рождественские каникулы на главной улице, когда он осторожно шел по заснеженному тротуару, неся две тяжелых сумки с продуктами, Франко нос к носу столкнулся с Джованни Маджоре, который держал под руку девушку с длинными светлыми волосами, светлыми до невероятности. Он помнил, что они смеялись и оба были в меховых шубах – он в темно-коричневой, она в светло-серой, – отчего выглядели эксцентричной парочкой, ни дать ни взять кинозвезды, подновившие свой гардероб к северным широтам, например, для рекламного турне по Аляске. Джованни обнял Франко со своей очаровательной непринужденностью, будто и не прошло время, будто не видели лисиц в колючих зарослях перед их шале.

Франко не удавалось сосредоточить свое внимание, слова не доходили до него. Была девушка, ее длинные светлые волосы, скрепленные большой заколкой и рассыпавшиеся из-

под нее, точно световая завеса. Ему показалось, что земля уходит из-под ног, будто он пытается удержать равновесие на замерзшем пруду, лед на котором грозит вот-вот треснуть.

«Ты помнишь мою сестру Клаудию?» – спросил Джованни, а она между тем встряхивала волосами – *эти волосы! Я никогда в жизни такого не видел! Они будто светятся изнутри!* Франко кривил рот, словно заново переживая эту сцену, которая запечатлелась в нем, как фильм с кинопроектора на натянутой простыне. Серж Шубовска тоже мучительно морщился, наверно, потому что он был ближе всех к Франко, и от чувствительности ему становилось не по себе.

Клаудия рассмеялась, поняв, что Франко не узнал ее, и, возможно, почувствовав его смятение. («Она смеялась, бо-же мой, ей смешно», – говорил он с подчеркнутым швейцарским акцентом.) Она посмотрела на него снизу вверх, воспитанная, кокетливая, и, кроме серых теней под ее подведенными черным глазами, ничто, абсолютно ничто не напоминало о грустном ребенке из его воспоминаний. Это было как в плохом фильме, где заменили главную актрису, маленький призрак канул в небытие, гонимый ветром, рассыпался на хлопья, а вместо него явилась эта ошеломительная красавица, наверняка с червоточинкой.

У Франко был потрясенный вид, что выбивало из колеи, его футболка казалась мокрой от пота, как будто тело вдруг стало испускать мощнейшее магнитное поле, а глаза смот-

рели куда-то поверх нас. Наверно, Патрик Сенсер похлопал Франко по спине, а Даниэль Видадь закурил сигарету, держа ее большим и указательным пальцами, он вроде думал, что так выглядит опасным. Наверно, Серж Шубовска разгладил свою рубашку или распустил галстук, словно ему не хватало воздуха, а Роберто Алацраки шмыгнул носом, новый его нос казался слишком узким, чтобы подавать в легкие достаточно кислорода. Мы были пришиблены и злились. В этом прохладном помещении, таком уютном со всей этой едой, при виде которой казалось, что можно пережить любой кататизм, мы чувствовали себя преданными.

Что с ней произошло? Что она делала все это время, когда исчезла, время, которого мы не заметили, ведь наши жизни сочились по капле, как вода из подтекающего крана?

Судя по всему, она жила. С ней произошло *нечто*, нечто *невыносимое*, что повлекло ошеломительное ускорение ее роста, — ее ноги, груди, бедра, волосы! Казалось, будто мы уснули, нас окутало пагубное оцепенение. И за это время природа взяла свое и выдала миру женственность, мощную, влажную, от лучей которой запотевало все вокруг, как в аквариуме.

И вот так открылась эра трех К.

После встречи Франко Росетти с новой Клаудией и ее невероятными волосами, поблескивающими, как неон в ночи, три К стали появляться где угодно и в любое время. На лыжных трассах, на улице, на катке. В блинной, в булочной, в боулинге. В бассейне, в «Спортинге», в Клубе, в «Четырехстах ударах». Всегда втроем, одетые примерно одинаково, как будто их наряды синхронизировались с происходящим, и все это казалось спланированным, неукоснительно и в то же время естественно, что окончательно кружило нам головы.

Они были потрясающие все три. Клаудия с ее светлыми волосами и меланхоличными глазами, всегда подведенными черным, в мини-шортиках. Крис, темноволосая, кудрявая, с прелестным лицом, со вздернутым носиком и взрывами смеха, восторженного, вызывающего, как будто вся жизнь – шутка. Карли с ее флегматичностью, с длинными черными волосами – таких длинных мы никогда не видели, – которые колыхались на ее бедрах, как шелковый занавес, с птичьей грудкой и в мальчиковых брючках.

Они появлялись, и небо становилось стальным, воздух – жгучим, снег отражал слепящий свет. Все было донельзя четким: линия горизонта; заснеженные вершины; светящие-

ся луга. Стихии поглощали нас и оживали, как рыбы в озерных глубинах.

Мы сидели на подъемнике, и вдруг девушки проносились внизу, маленькие серые и черные фигурки. Лыжами они владели неважно, скатывались по трассам, смеясь, плугом, взметая снег, размахивая палками, и неловкость ничуть не убавляла их шика. Одна непременно носила шапку из шелковистого меха – мы мечтали его погладить, он казался мягким, как живот котенка, – или красные перчатки, или полосатый шарф всех цветов радуги. Они одинаково причесывались: косы, конские хвосты, как сестры или одноклассницы, а то распускали волосы, которые бились по плечам в ритме поворотов – чтобы помучить нас?

Весной мы проходили мимо поля для гольфа, и они были там. Крис запускала мячи куда попало, подпрыгивая, Клаудия и Карли, в клетчатых брючках и теннисках ярких расцветок, шли следом, волоча тележку. Карли глядела мечтательно, с ее посадкой головы и волосами восточной принцессы, а Клаудия курила сигареты у лунки, широкими чувственными жестами. Они и не играли толком, то и дело останавливаясь, как будто им не терпелось рассказать друг другу умопомрачительные вещи, и нам было видно издалека, как мельтешат их руки.

Лето было, наверно, самым мучительным сезоном. Мы встречали девушек в шортах и горных ботинках, с рюкзака-

ми, а Карли с гитарой наперевес, с красными, как яблочки, щеками, на походных тропах. Мы терпеть не могли пикников на высоте – особенно Серж Шубовска, который отказывался вылезать из своих кожаных ботинок на шнурках, – но приходилось рано или поздно следовать за нашими отцами в горы, за отцами, одетыми просто неприлично, в бермудах, в длинных носках, закрывавших безволосые икры. Они походили на отряд старых мальчиков, хоть и пили джин и заканчивали день, как правило, пьяными, обмениваясь сомнительными шутками. Надо было смеяться их шуткам, как будто речь шла о ритуале инициации, призванном сделать из нас мужчин, а у нас на уме была лишь возможность встретить трех К, мы думали об их упругой коже и о своей, до смешного бледной. Пока наши матери отдыхали на горных террасах, лежа в шезлонгах и пряча глаза за огромными солнечными очками, как на палубе лайнера, мы тащились за отцами, пришибленные, тревожно поглядывая вдаль.

Мы видели их, разумеется, в бассейне: и Клаудию, чья молочная кожа розовела, открывая созвездие веснушек, и Карли – всегда в одном и том же купальнике с африканскими мотивами, – чьи руки и ляжки были покрыты волнующим пушком, а Крис – черный цельный купальник с завязками на шее – выстреливала из воды, подтягиваясь на руках. Крис с прилизанными волосами и алыми губками. Наши сестры уверяли, что три К выписывают водостойкую помаду из Калифор-

нии, — эта информация сообщалась нам со смесью презрения и зависти.

Они садились на влажную траву, расстелив индийские ткани — даже ткани у них были невероятные, никто из нас никогда таких не видел, — пили фанту из бутылки через соломинку, и их тела ослепительно ярко вырисовывались в летней синеве. Карли играла на гитаре, прижав ее к голому телу, — эта гитара, такая широкая на ее торсе, едва прикрытом двумя крошечными треугольниками ткани, казалась нам непристойной, — Крис прохаживалась по газону, выгнув спину, очень медленно, гладила траву пальцами ног, будто вдруг увидев божью коровку или клевер с четырьмя листочками, а Клаудия, разлегшись в шезлонге, играла брелоками на своей длинной золотой цепочке — глаз, череп, медальон с надписью *ti amo*³, — они искрились на солнце и отбрасывали блики, и приходилось жмуриться или отводить глаза и думать о другом, чтобы сохранить достоинство в наших плавках и вынести ожог сетчатки.

Само собой, иногда мы пересекались. Самые смелые из нас — как Патрик Сенсер в своих узеньких плавках, облегающих на диво маленькое хозяйство, но, может быть, это потому, что он без конца дрался, или Даниэль Видаль, которому надо было «поддерживать репутацию» — подходили к квадрату индийской ткани, этому райскому острову, плывшему в

³ Люблю тебя (*ит.*).

растительном море, и, стоя, уперев руки в бока, обращались к трем К, чтобы одолжить у них зажигалку или просто спросить, «все ли хорошо?». Мы наблюдали за сценой издали, закуривая сигарету как ни в чем не бывало, прячась за рейбэновскими очками, не дышали, стискивали зубы, хрустели пальцами, машинально выдергивали траву под рукой – надо было что-то делать, чтобы вынести медлительность мгновения, этот подход, которому, казалось, не будет конца, когда один из нас готовился перейти на другую сторону, прорвать завесу, отделяющую нас от реальности – или, может быть, от грез? – во всяком случае, покинуть одно измерение, чтобы попасть в другое.

Они шли – Даниэль проводя рукой по волосам, чтобы отбросить их назад, Патрик, сжав кулаки, как перед боем, – и все три поднимали глаза, вытягивали шеи, жуя соломинку, хлопая ресницами, приставив руку козырьком к глазам от солнца, прелестные, улыбающиеся, полуголые.

Но никогда ничего не происходило. Ровным счетом ничего.

Когда они, подмигивая нам, уверенным шагом возвращались к нашей группе, время на миг зависало, подобно апострофу над затаившей дыхание строкой. Внезапно под этим огромным небом, напоминавшем о жажде или о бездне, мы могли поверить, что наши жизни наконец начнутся. А потом парни садились по-турецки, поднимали на лоб солнеч-

ные очки и увязали в путаном отчете, из которого не происходило никакой значимой информации и еще меньше обещания – казалось, их мозги пришибла августовская жара, они были словно пьяные, потерянные, или злые чары помutilили их рассудок. Макс Молланже говорил, что им все пофиг, и трепетал от недоброй радости в своей футболке, которую не снимал, даже когда купался, защищая свою чувствительную кожу, и топтал свои шлепанцы «Гуччи», которые были ему малы, – подарок на пятинадцатилетие, он ими ужасно гордился и выглядел в них женоподобным тренером по плаванию.

В те дни, в бассейне, Крис брала с собой транзистор, Клаудия прибавляла звук, когда передавали итальянские песни, и нам это казалось посланием, тайным зовом, витавшим в воздухе, в то время как их глаза, скрытые за темными очками, возможно, смотрели на нас. Спустя годы, однажды вечером в «Харчевне Королевы» Роберто Алацраки вдруг встал, бросив салфетку на стол, и запел странным тонким голосом, со стаканом арманьяка в руке, *Non ho l'età*, шлягер той поры в исполнении Джильолы Чинкветти, брюнетки с конским хвостиком, которая выиграла «Евровидение-64» и немного походила на Карли. Девушки выбирали эту песню в музыкальном автомате в «Спортинге» по несколько раз подряд, они качали головами в такт, сидя на банкетке плечом к плечу, и шептали слова.

*Non ho l'età, non ho l'età per amarti,
Non ho l'età per uscire sola con te,
se tu vorrai,
Se tu vorrai, aspettarmi.
Quel giorno avrai, tutto il mio amore per te,
Lascia chi o viva un amore romantic,
Nell'attesa che venga quell giorno, ma ora no.*⁴

Им не было все пофиг. Они образовали единое целое, гибкое и полное, в которое тщетно было надеяться проникнуть, словно эластичный пузырь. Когда мы встречали их вечером в «Четырехстах ударах» или в Клубе, они снова преображались, щеголяя в необычайных нарядах: Крис в платье с пайетками, Клаудия с глазами чернее обычного, точно белокурая Клеопатра, а Карли в мужской рубашке, волосы убраны в замысловатый шиньон, обвивавшийся вокруг головы, как мурена. Они держались своей компанией, а если иногда кто-то из нас подходил к барной стойке, за которой они сидели, и предлагал их угостить, они улыбались, тараща глаза, и мы, сами не зная, что делаем, заказывали кампари с апельсиновым соком, жестом подзывая бармена – Андреас флегматично смотрел на нас, и его презрение было прямо-таки осязаемым, как подрагивание его верхней губы, – но когда мы по-

⁴ Я еще не дорос, не дорос, чтобы любить тебя. Я еще не дорос, чтобы выходить с тобой наедине. Если бы ты захотела, Если бы ты захотела подождать меня, Однажды бы наступил день, когда вся моя любовь была бы для тебя. Дай мне жить романтической любовью В ожидании, когда наступит тот день, но не сейчас. (ит.)

ворачивались, их уже не было, они или рассекали толпу, держась за руки, или танцевали на танцполе.

Но иногда бывали знаки. Однажды февральским вечером Патрик Сенсер, выходя из «Спортинга», где проиграл триста швейцарских франков в боулинг – а на улице было темно и кружил снег, – встретил Клаудию под ручку с двумя итальянцами (ему показалось, что он узнал Джованни, но снег застил глаза, видение было мимолетным, и накатила необъяснимая паника, так что утверждать это нам он не брался). Когда Патрик поднимал воротник своего пальто, Клаудия улыбнулась ему: *Buona notte*⁵.

«И она посмотрела мне прямо в глаза, знаете, такой взгляд. Такой взгляд, как когда девушки хотят вам что-то сказать...» Мы не были уверены, что знаем, и предпочитали думать, что он все сочинил. Мы ревновали, мы воображали сцену как нордическую феерию, клубящийся снег, темнота, как плащ, и Нотт, северная богиня ночи, передавшая ему послание, ему, Патрику Сенсеру, любившему мочиться в банки из-под пива.

В другой раз Эдуард де Монтень подобрал рукавичку, выпавшую из кармана Карли на катке, лиловую рукавичку, связанную крючком, малюсенькую, на детскую ручку, и он бежал за ней, неловкий на своих коньках, по резиновому коврику, который вел в раздевалку, – годы спустя мы помнили

⁵ Добрый вечер (*ит.*).

тошнотворный запах этого коврика, запах шины или бензokolонки. Она взяла рукавичку, удивилась, взглянула на него так, будто никогда раньше не видела, и, не поднимая глаз, сунула ее в карман анорака с этими немыслимыми словами: «Спасибо, Эдуард». Потом она отвернулась и взяла свои сапожки из шкафчика. Эдуард де Монтень, самый из нас романтичный, во всем видел знамения, вероятно, потому что жил в полном отрыве от материальной жизни и был убежден, что эта перчатка явилась знаком беды или призывом о помощи и что однажды ему снова придется подобрать какой-то аксессуар, другую рукавичку, тюбик увлажняющей помады для губ, вышитый платочек, и на сей раз это он назовет ее по имени, и жизнь его тогда встанет на место, как расположение звезд. Это так и не произошло, но, по крайней мере, Эдуард де Монтень был окрылен надеждой, он ждал.

У них не было дружков. Они казались самодостаточными, веселыми и невинными, как племя Амазонки. Правда, сестра Шарля Демоля говорила, будто видела, как Крис целовалась с седеющим плейбоем на паркинге «Шетзерона» в июльский день, когда она шла с урока тенниса («Его рука была под ее блузкой, он ее лапал», – утверждала она), но мы знали, что сестра Шарля Демоля лжет. Это была хмурая брюнетка с зубами грызуна, чье имя мы регулярно забывали – Каролина? Селина? Сандрина? – и ее единственным реальным удовольствием было портить репутацию де-

вушек с курорта. Были какие-то слухи, ходившие по деревне, и она пересказывала их снова и снова, уверенно или сокрушенно, покусывая свои тонкие губы и добавляя все больше точных деталей. Ева Куцевич тискалась в машинах у кинотеатра. Марина Куби уехала в Лозанну якобы провести кухню из Америки, на самом же деле в аптеку Кунста – мадам Кунст славилась своим коммерческим чутьем и диафрагмами, которые она поставляла несовершеннолетним парижанкам, упаковывая их в бумажный пакетик с рассеянной улыбкой, словно пастилки от кашля или зубную пасту «Сигнал».

Кароль Кашен тайно встречалась с Моисеем Беллауи (она была католичкой, и семья Беллауи никогда не одобрила бы подобного романа) и исчезла на несколько дней, уехав в женеvскую загородную клинику на аборт, – никто никогда не узнал, ни как они финансировали эту операцию, ни даже как удалось сохранить ее в тайне, знали только, что Кароль Кашен вернулась бледная, похудевшая, потеряв разом круглые щечки и невинность, казалось, какая-то обескровленная, словно светившаяся в ней жизнь осталась там, где-то в стерильной палате, в здании, похожем на противоатомное убежище.

У сестры Шарля Демоля – Сесиль? Или Сильвии? – имелось, разумеется, и досье на трех К, серия анекдотов и анализов, которые она высказывала с равнодушием судебного медика, поправляя заколки в волосах. Крис, оказывается,

не только целовалась со «старым красавцем, загорелым, как обожженная глина», но и назначала свидания респектабельным отцам семейств в сумерках на мини-гольфe в Монтане (этакая амазонка или оголодавшая женщина-вамп, представлявшая западни на зрелых мужчин, которые и вовсе были ни при чем, просто шагали вдоль шоссе, вроде как шли, немного даже нехотя, на выручку молодой девушке, у которой «неприятности»). Эти сплетни сводили с ума Сержа Шубовска, который записывал уходы и возвращения Крис в свою черную тетрадь и мог таким образом предоставить доказательства ее невинности (в тот год только дважды можно было встретить Крис на мини-гольфe, это было в апреле, между 15 и 17 часами с братьями 15-го и между 16 и 18:30 в обществе Карли и Клаудии 23-го, в тот день на ней, кстати, были красные брюки, оранжевая тенниска, а волосы завязаны в два хвостика).

Вечером в «Четырехстах ударах» он изрыгал ругательства в адрес сестры Шарля, угрожая попортить ей мордашку, щеки у него горели от спиртного и возмущения, и чувствовалось, что он бы это сделал – встряхнул бы ее, надавал пощечин, расцарапал бы ее худые руки и лицо больного грызуна, – имей она несчастье оказаться тогда поблизости. Но Селина, или Сандрина, или Каролина никуда не выходила по вечерам, ее встречали только днем, в чайных салонах, в компании девчонок с кудряшками, или в «Сувенир-Сувенире», магазине на главной улице, где можно было видеть сквозь

стекло, как она играет с фарфоровыми зверушками: котятами, оленятами, зайчатами, расписанными вручную и хрупкими, как репутация ее жертв.

Говорили еще, что Карли, за своей наружностью недотроги, была потаскушкой. Она удирала, вылезая из окна своей комнаты на втором этаже к мальчикам, которые ждали ее в машинах, припаркованных в темноте, с погашенными фарами, в нескольких метрах от шале ее родителей. Перед такой глупостью и злобой мы только диву давались и злились. Карли была так абсолютно элегантна и независима, что казалось абсурдным – *невыносимым* – вообразить ее на заднем сиденье с растрепанными волосами – о, ее прекрасные волосы, – в приспущенных джинсах под руками парня, у которого из всех достоинств только водительские права. В тот год Патрик Сенсер был так деморализован, что вылетел с первого матча юношеского турнира в Теннисном клубе, побежденный в трех сетах толстым бельгийцем в оранжевых шортах. *Патрик Сенсер!* Это он-то, владевший лучшей подачей в своей категории, посылавший мяч в дальний угол корта с силой и точностью, удивительными для такого небрежного движения, он, которого обожали все девушки за азарт и трепетали на трибунах, когда он, вскрикивая, бил слева, теперь выглядел потерянным, неловким и угрюмым, потерпевшим тайное поражение.

Только Франко удавалось утихомирить нашу ярость. Слухи не проникали в его внутренний мир, они обтекали его,

как дождь в конце лета, когда роскошные машины уезжали, очень медленно, по горной дороге – узкой, извилистой, опасной, где серая стела, вырезанная в скале над Сьоном, напоминала о смертельном падении пары в спортивном купе в 1961-м. Он смотрел, как кортеж «остинов», «альфа ромео», серых «рено», черных «мерседесов» скрывается в утреннем тумане, и думал без печали о закрытии летних счетов, прикидывая цифру доходов.

В сезон мы иногда набивались в его грузовичок, где воняло кожаном и сквозняки врывались со всех сторон. Сидя на переднем сиденье, в курточках с бархатными воротниками, мы ждали его, пока он снабжал продовольствием семьи – наши семьи, – как послушные дети. Мы были счастливы в этом грузовичке, жизнь казалась простой, и, когда Франко вел и его руки уверенно и по-мужски переключали скорости, мы чувствовали себя на своем месте. Он успокаивал нас иногда парой слов, и мы сидели неподвижно, затаив дыхание, как будто запоминали тайные директивы, которых не повторяют дважды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.